



Пётр КРАСНОВ

(1950 — 2022)

НА РУБЕЖЕ

Ещё невидимое за грядую лёгких, розовеющих изнутри облаков, вставало в положенный ему срок солнце, летней дымчатой голубизною наливалось небо и будто подымалось, просторнело; а понизу креп утренний, на росной сырости и прибрежных лопухах настоящий горький холодок, травы и кусты отяжелило влагой, развалило — и пополз над самой водой рождающийся неизвестно из чего, прямо из озябшей плоти воздуха проступающий, на глазах густеющий туман. Затягивало им, завивало стеклянистую, по-ночному ещё сумрачную гладь плёса, недалёкую отсюда стремнину, неутомимо несущую вдоль обрывов и коряг свою неукротимую любовь к далеко-далёкому, отсюда, казалось, вовек недостижимому морю, — заволакивало воды текучие, самое время утреннее, такое всегда в этот час-другой скорое, и оно увязало в нём, ползти начинало куда-то вбок, в сторону вместе с ключьями его, густело,

и уже не разобрать было, сидя в лодке, куда стаскивает нас, уводит туман этот, время это, на ключья разрозненное... уж не вспять ли?

И вот озарённые уже было первым светом осокори на том, азиатском берегу поразмыло им, туманом, придвинуло ближе, приблизило; затем темнеющими, тёмными, даже какими-то на миг грозными призраками вознесло — и пропали они в нём. И там, где они только что виднелись, где ещё тень расплзалась их, растаскивалась в неурочных, стремительно навалившихся сумерках этих, — тревожно так, жалостно вскрикнула птица. Был это коршун, наверное; узнавался его вечно жалобный, просительный, от лицемерья тоскующий вскрик, помнилось не раз виденное, как удирает он трусливо от отчаянной, своё гнездо защищавшей птахи какой-нибудь — из последних силёнок подымающейся выше и оттуда кидающейся на него, а он, тяжело и неуклюже

взмахивая своими огромными крыльями, виляет и уклоняется, готовый, кажется, в кусты куда-нибудь, в траву забиться от неё... Узналось, да; но туман глушил, неуловимо менял свет, краски ли, звуки, и уж то ли рыба это бухнула, сомовым ударила плёсом, то ли кони казачьи пьют, в парную заходят воду, запрыгивают, хозяйски спустившись с откосов, а наверху среди уремной травы в мокрых от росы сапожишках стоит заспанный парень и нетерпеливо постёгивает по голенищу засаленной путою. С вечера напекла мать кокурки, до Нижнеозёрной дорога неблизкая, да и кончится ли всё сборами? Велено с полной выкладкой, в степи нехорошо опять, неспокойно, передрались киргизцы, с жалобами наперегонки сюда бегут-спешат — а режут, в полон-то уводят наших... до каких пор?! Пьют кони, напиться не могут уральской ласковой, прозрачно струящейся по галечнику воды, словно предчувствуя палящую ноздри пыль тяжких дневных, от зари до зари, переходов, солонатовую ту муть, поднятую для них и для измотанного в сёдлах людского воинства со дна глубочайших мугоджарских колодцев, которую и водой-то не назовёшь. Не вода — пот их горький, здесь потерянный, казалось, навеки и неизвестно зачем потраченный, но вот каким-то чудом собранный будто и — молча — возвращаемый им пустыней — зачем? Затем, чтоб напиться, вещей жажды не утолив,

и идти дальше. Кольцом свивается вода времён, свитком судьбы, где всё записано, как бабушка-покойница говаривала, «ядрёными буквами», но ничего-то не понять, как ни вглядывайся в туман предопределений, как ни мучайся этой неизвестностью — но которая, чувствуешь и знаешь ты, временна и есть лишь неизведанность, какую изведать рано или поздно придётся. Когда-то, ещё в несмышлёнышах, удивило, что у людей вон всё как у людей, все континенты сами по себе, отделены морями и океанами, с какой-то даже заботливостью разведены друг с другом; а вот у нас один, громадный, за чем-то надвое разделён, да так неровно, и чем? — какой-то условной, которой даже и на карте-то нету, линией: Рифейским хребтом, так его греки называли, вдоль синей, по-весеннему вздувшейся жилы Урала, по какой-то там впадине потом... Что-то тут не то было, непонятное, никакие учителя ни тогда разъяснить не могли, ни после — зачем разделили? Чего делить-то? Нет, не для удобства научного или ещё какого различения, не по границам озлобившихся навек друг на дружку государств, а по какой-то иной, глубокой, куда глубже самых потаённых омутов уральских, надобности Божьей... И вот и теперь, со всем нажитым своим, с интуицией, какая уж мнительностью стала, всё-то вглядываешься, всё видишь, как несёт вода живая, неукротимая даже летней тёплой

меженью, будто смыть, вниз по течению спровадить, стащить с себя пытается тот незримый, невещественный в этом, казалось бы, едином мире пунктир — и не может... Это — порубежья судьба, не человеком избранная, установленная пограничным столбом, не метрикой подпёртая чья-то биография: это тяжкий, порой кажется — невыносимый дар провидения, на который можешь пенять скорбно или даже возненавидеть его, оглядываясь на соседей, на благополучные до срока народы; но и не любить его тоже не сможешь, ибо он уже и не дар, а суть твоего самого родного, душа твоя, жаждущая горькой той воды азиатских пространств, азиатской глубины, встречу той тоске предопределённая. Но зачем и на что тебе это? Чужих пространств не приручишь, не согреешь, разве что не чуждую тебе всегда, богатырскую свою Сибирь. Протестантского, с самомнением сахиба, неугомона и всех этих негодных негодий в тебе нет. Чахоточные от книжной пыли евразийские мечтания сошли давно в маленькую могилку, в которых дети птичек хоронят, на ней крестик из палочек, нитками связанный. А рубеж этот, на который ты когда-то пришёл, но данный тебе от века, так и останется здесь до скончания земных времён, на нём и правнукам твоим быть, стоять. Охранять, коршунычьи зная повадки. Но если бы только земли предел, грань... Это и рубеж до времени закатившегося,

как глаза безумца, века, его ада земного... И ты в нём, в который раз крещённый азиатским предательством, кавказской подлостью, прозрачной, как балтийский янтарь, чухонской глупостью надутой и своим собственным богосмирением, усмевающимся над собой и другими авосем, — ты, которому никакое ученье не впрок, лишь небесный завет над тобою журавлём в небе, курлыкающим без исходу, стонущим над твоей судьбиной непутёвой, бросовой почти... Кроткий, наследующий и то строящий, то разоряющий свою землю — кто, в конце концов, ты? Своё бы обогреть — но то ли время не пришло ещё, то ль не здешнего солнечного, не человеческого тепла это дело... Открывай ворота, мать: я приехал? Или только уезжаю? И ту, закордонную, сторону довелось увидеть: пустоту небес и оскорблённой кем-то земли, равнины духа, предгорья загадочных, равнодушных знаний Тянь-Шаня ли, Тибета... И как тоскливы вдруг показались тебе эти горы, эта нескончаемая синяя, сизая рериховская гряда, эта уходящая вершина за вершину вздыбленная Богом материя камня... С какой тоской, должно быть, глядел на них русский полон, пригнанный через пустыни не ведающими жалости нукерами, загнанный сюда, в жестокое чужое, рабское, — с какой, подобно смерти, пустотой в глазах, выцветших от блеска солончаков, обманных миражей, слёз... Всё

невозвратно перед лицом пройденных гонимых неизмеримых песков, пред ликом этих узкоглазо отрешённых, равнодушных вершин, за которыми, кроме неведомого и чужого, жестокого сердца Азии, нет ничего. Ничего кругом, кроме измождённой древней пыли и разящего солнца, ничего в остатках, поскребышках души, кроме детской тоски по матери, зелёной и росной... Так зачем тебе, на вольных, хмелем родины повитых чернозёмных берегах Урала стоящему, тот просоленный чужой солью и смыслом дикий белёсый суглинок, сизая тоска последней гряды, одним вздыбленным камнем заселённое небо? Зачем порубежному тоже Петербургу священные камни, вместо хлебов снутые с пренебрежением в его издавна, изначально протянутую, чтоб она отсохла, руку? Ты этого не скажешь, не знаешь. Ты только чувствуешь, что в том твоя христианская душеобразующая, исполненная мужества и бед, доля; судьба — не одёжка, с плеч не сбросишь. Рубеж этот последний зелёный, вода эта бегущая русская останется рубежом, дальше родному для распространения ни пути, ни ходу нет — слишком иной там воздух, иным грезит серая, как испепелённый прах, почва, иная пронизала всё, проникла во всё душа. Но русский полон, стервятников поводь, — извечная разведка наша.

Но опять ты идёшь, опять распят на константинопольских торгах о наследстве, на священных камнях обезумевшей от старческого эгоизма и безверья Европы, на чёрствых такырах Устюрта. И только разве догадка возьмёт на какой-то миг, что это не твоей собственной, личной, но вселенской твоей судьбы очередной неотвратимый, неумолимый порыв: выйти в мир и вместить его, мир, в себя, почувствовать и принять его весь, в Божьем его, божественном единстве — в себя... И что ту воду мирообъемлющей твоей жажды, солоноватую от крови на губах, горчайшую от разочарований воду Атлантики, древней Пропонтиды или уральского левобережья бескрайнего, простёртого за аравийские пески, опять не миновать испить. Пить горечь и отраду познания мира в самом себе — пока не сбудется неизреченное и всё-таки нам обещанное, пока не сойдутся наконец все берега, в один превратившись берег желанный, последний. Раздёргивается туман, проседает то здесь, то там. Летнее голубое, безначальное небо проступает в нём, плывущем, и ты возвращаешься — не сразу и с трудом, словно из водоворота, воронки затягивающей. Проступают, узнаются опять берега, светлое зелёное серебро осокорей струится легонько, и время течь начинается туда, куда течёт Урал, — в вечность? Коршун кружит.